



А. П. БОНДИН

ИЗБРАННОЕ

В ДВУХ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА 1958

А. П. БОНДИН

ИЗБРАННОЕ

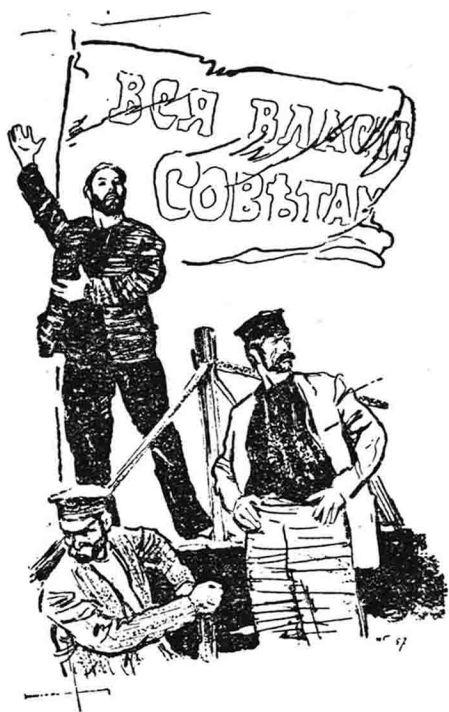
ТОМ II

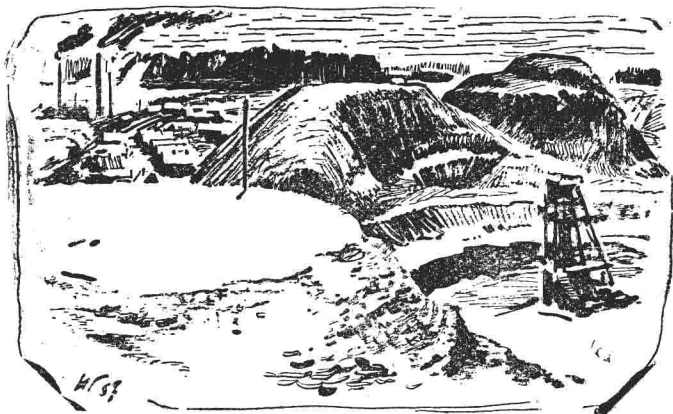
Р О М А Н Ы

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА 1958

ЛОГА

Роман





СОТРУДНИКУ
в жизни и творчестве
Александре Самуиловне
БОНДИНОЙ

А. Бондин

Старатель Яков Скоробогатов возвращался с рудника верхом на лошади. Июльское солнце немилосердно жгло, а небо казалось жестяным, луженым. Придорожные деревья недвижно застыли в знойном мареве, покрытые серым налетом пыли. Чуть заметное дыхание ветра не холодило, а как будто еще более распаривало.

Гнедой толстозадый мерин нетерпеливо мотал головой, хлестал по бедрам хвостом, отгоняя злобно жужжащих слепней и оводов. По всему телу, как сквозь сито, просачивался пот и местами бугрился желтоватой пеной мыла.

— Жара-то какая, прости господи,— снимая круглую бобровую шапку и утирая рукавом со лба едкий пот, бормотал Скоробогатов.

Зной, парное дыхание ветра и тоскливые кустарники крепче пристегивали вязкую думу: «Ушел фарт... как провалилась жилка...» Устало опираясь на подвешенные к седлу пестери, он смотрел на серую пыльную дорогу, опустив поводья.

Впереди заводское селение Подгорное, разбросанное по отлогим холмам. Глубоко в яму провалился завод, прижатый Лысой горой, похожей на каравай хлеба. По ту сторону Подгорного синеватой каймой уходит лес в тысячеверстные дали, чуть волнуясь тупыми шиханами гор. Сбоку, из-за леса вышла остроглыбая гора Магнит, у подножия которой разинула зев ступенчатая огромная яма — железный рудник.

Все это знакомо Скоробогатову... Не один десяток раз он видел эту уходящую впереди рамень, горы, что срослись одна с другой своими подошвами, ошетинив горбатые хребтины хвойным лесом. Но теперь его взгляд цепко пристегнулся к заводу, к яме, откуда высунулся десяток черных труб, размазывающих в раскаленном небе негустое облако дыма.

«Хоть в завод иди да запрягайся в работники к Антуфьеву-князю», — подумал он.

Въехав на ближайший к селению пригорок, откуда прямой тракт серой холстиной впутывался в окраинные улицы Подгорного, Яков пристально всмотрелся в одну из них, брошенную зеленой лентой меж небольших домиков, среди которых высился только один большой двухэтажный дом с зеленой железной крышей.

«Мой дом был», — пронеслось в голове Якова, и в памяти выросло прошлое. Как светлые блики на сером фоне жизни отражались дни, когда Скоробогатов «жил», когда ему «везло» — шло золото, была «богатецкая жилка». Как быстро построил он тогда этот дом.

— Как из земли вырос, — говорили тогда соседи.

Были у Скоробогатова в ту пору и хорошие кони. Как звери были. Любил Яков возиться, драться с ними, укрощать их буйный характер. Украшая их дорогой, с набором, сбруей «московского ремня», Яков после каждой сдачи золота в контору разъезжал на тройке по улицам Подгорного. Сам был всегда щеголевато одет. На голове бобровая новая шапка с бархатным верхом. Огнем горит из-под щегольского полушубка ворот ярко-красной кумачовой рубахи, плисовые широкие шаровары заправлены в ботфорты с лаковыми подклейками. В больших пошевнях он, как бешеный, влетал в окраинные улицы, и люди испуганно сторонились от остервенелых, взмыленных лошадей. Пальцы Скоробогатова были закованы массивными золотыми перстнями, голову Яков

держал прямо, на людей смотрел свысока, особенно на рабочих завода, которые ему казались какими-то жиденькими, художными людишками, тянувшими свою измученную жизнь, не жизнь — «жизнешку». Встречаясь с ними и выслушивая их жалобы, он, самодовольно поглаживая рыжую бороду, говорил:

— Жить вы не умеете.

Все это было и промелькнуло, как давно виденный сон. Но все же, когда он вспоминал прошлое, мысль его летела легкокрылой птицей. Сегодня — не то. Он ехал, нагруженный гнетущей тоской, увозил засевающую в сознании горькую обиду, нанесенную штейгером Исаией Ахезиным.

Доведенный до отчаяния, он метался по речонкам, по логам, отыскивая нетронутые места, чтобы сделать заявку. Сегодня, когда делал пробу на желобе в Кривом логу, был накрыт Ахезиным.

Яков не заметил, как Исаия с лесообъездчиком подошли к нему.

— Что? Шаромыжишь, Яков Елизарыч? — вкрадчиво, с ехидцей спросил Ахезин. — Докатился? Хищничеством занялся?

Скоробогатов почувствовал, как краска стыда и обиды залила его лицо.

— Разведку делаю, Исаия Иванович, — виновато ответил он.

— Ась? — как бы не расслышав, насторожился Ахезин, и его тощее лицо ехидно заострилось, глаза засветились колющими искрами.

— Разведку делаю. говорю я...

— На разведочку нужно баночку от конторы взять. С печатью, с заводской, Яков Елизарыч!

— А я допреж хотел, чтобы потом впустую не вышло.

«Снасть» Ахезин не отобрал, а только значительно, подчеркнув свою власть, сказал:

— Ну, уж ладно, на первый раз тебе спущу, потому знаю тебя... А больше с этим художеством мне не попадайся, Яков Елизарыч. Мужик ты был — на славе жил... Дружбу терять не будем... Изломай, Прохорыч, — приказал он лесообъездчику.

Прохорыч — здоровый, плечистый человек, с загорелым лицом, обросшим густой темнорусой бородой, с боль-

шой медной бляхой на груди — выворотил желоб, устланный дерном, и забросил его в ближайший глубокий шурф.

— Давай забирай снасть-то, Яков Елизарыч! Мы тебя проводим до тракта, — по-прежнему ласково и ехидно сказал Ахезин.

Яков покорно исполнил требование штейгера.

Когда они выехали из гущи леса на широкий тракт, Исаия повернул в противоположную от Подгорного сторону, сказав:

— Ну, так до увиданья, Яков Елизарыч, счастливого пути!

Нагруженный думами, Скоробогатов не заметил, как въехал в свою улицу, Малую Вогулку, где он жил в старом, почерневшем от времени доме на три окна. Дом этот достался Якову по наследству от деда Луки, непорочного кержака-раскольника, ушедшего в скит на Елевые горы спасать свою душу от антихристовых печатей, которые вводил заводчик князь Антуфьев. И дело старательское получил Яков тоже по наследству.

Скоробогатовский дом наклонился острым коньком вперед, как бы прикрыв свое лицо от солнца. Яков не ускорял хода. Мерин, выйдя из полосы злого жужжания слепней и овода, шагал не торопясь, опустив голову. Горланили петухи. На дороге пурхались куры, поднимая пыль. Навстречу Якову по полянке шла соседка Кулажиха — староверка, озлобленная нуждой баба, в косоклинном сарафане. Она вела чумазую, загорелую девочку в короткой, замусоленной до пупа рубашонке и, злобно дергая ее за ручонку, ругалась:

— Да иди ты, будь ты проклятая!

Девочка, подпрыгивая от увесистых шлепков матери, редела, широко разевая рот. Льяные кудреватые волосы растрепались, косичка с красной тряпичей загнула вверх хвостиком.

Кулажиха, увидев Скоробогатова, сердито крикнула:

— Что прохлаждаешься? И не торопишься?.. Ох, и ехиды же вы, мужики!

Голос у нее жесткий, грубоватый.

Скоробогатов, недоумевая, открыл серые глаза, а Кулажиха, приостановившись, сердито проговорила:

— Что бельма-то выворотил? Не знаешь, поди, что Полицарья твоя родила?.. Уй ты, чучело!.. Оборотень ры-

жий. Пошел — принимай, парнишку тебе приволокла... Сама, прости господи, сушенка, а таскает парней...

Кулажиха сердито вздернула девочку на руки и пошла в узкий переулок, о чем-то ворча, а Яков завозился в седле и подхлестнул лошадь.

В сенях его встретила повитуха Кирсаниха — полная, широколицая, пожилая женщина, в черном платке на голове. На руках ее лежал ребенок, завернутый в тряпье. Она, смотря заплывшими жиром глазами, сердито пробасила:

— Приехал?.. Видно, господь-то батюшка надоумил же тебя, — вразумил приехать-то. И дела будто нету!.. Баба последнее время ходит, а тебя леший унес на рудник. Иди... Полинарья-то плохая, на ладан дышит. Двое суток маялась... В церкви царские врата открывали. Под святые клали... Иди... Я сейчас...

Кирсаниха ушла с ребенком в задние ворота — в огород.

Яков бросился в избу. Полинарья лежала на деревянной кровати, задернутой красной цветистой занавесью. Он отпахнул занавеску. Маленькое, худое, смуглое лицо Полинарьи было мертвенно спокойно. Она устало открыла, как две черные ягоды, глаза и, удивленно улыбнувшись, тихо, обрадованно проговорила:

— Яков!.. Ты... Приехал?.. А я... Без тебя ишь... Сынка бог дал...

Скоробогатов наклонился к жене. Полинарья, выдернув сухие смуглые руки из-под одеяла, сшитого из треугольных разноцветных лоскутков, порывисто обняла шею мужа и прошептала:

— Я думала... смертынька пришла... И тебя нету...

Яков бережно снял руки жены со своей шеи, наставительно сказал:

— Ну, ты не беспокой себя.

Он присел на край кровати, смотря на родильницу. Ему казалось, что перед ним лежала не его Полинарья, какая-то другая женщина. Лицо ее, повязанное белым платком, было маленькое, почти детское, а глаза блестели соком радостного чувства. Она улыбку и, вдохнув в себя больше воздуха, тихо заговорила:

— Счастье бог нам с тобой, отец... Сынок родился в сорочке и в рубашке.

— Штой-то, мать? — обрадованно спросил он.

— Вон, посмотри там... на божницу положила Семеновна сушить. Наверно, уж, подсохла... Ты поди-ка, отец, в баню-то сходи, посмотри, как бы она его не запарила... Больно я боюсь. Уж больно она его жарит...

Якова точно кто подбросил с кровати. Он подбежал к божнице: нашарил небольшой комок ссохшегося пузыря и долго с мечтательной улыбкой рассматривал «счастье». Потом бережно положил комок на божницу, перекрестился, размеренно останавливая руку на лбу, животе и плечах, и вышел.

Когда он подходил к бане, то слышал надсадный крик ребенка и тихий басистый голос повитухи.

— Ну, господь с тобой, богородица-мать, заступница... А господи Исусе Христе... Ну, ну... Родименький мой.

Каждый возглас сопровождался шелестящим хлестким ударом веника.

«Изжарит парня у меня, ведьма»,— подумал Скоробогатов и быстро распахнул дверь бани. Лицо обдало горячим паром и запахом распаренного веника. Повитуха в одной рубахе, вспотевшая, ворочалась в тесной закопченной бане. Подняв на ладони красное тельце ребенка к потолку, она хлестала его веником по спине. Увидев Скоробогатова в дверях, испуганно крикнула:

— Ах, чтоб те околет! Куда тебя черти-то несут, к чужой бабе в баню? Ладно я станушку-то еще не сняла...

Она, стыдливо одернув рубаху, присела на лавку.

— Ну что ты, Семеновна, бог с тобой. Не съем ведь я тебя,— виновато улыбаясь, проговорил Яков.

— Знаю, что не съешь... Ладно, что я уж старуха, а то чего-нибудь, пожалуй, придумал бы.

— Ну что ты, Семеновна.

— Знаю я вас, мужиков. Варнак на варнаке.

— Ты, Семеновна, того... шибко-то не жарь парнишку, а то не ровен час что случится...

— Знаю без вас я... Двадцать годов повиваюсь... Испуг у ребенка. Бабу надо какую-нибудь позвать...— потом Семеновна, подумав, сказала:

— Ну да ладно, с тобой можно изладить.

Она залезла на полоч, неуклюже ворочаясь в жару. Рубаха ее пристала к потному телу и обнажила крутые

толстые бедра. Яков, смотря на упитанное тело Кирсанихи, оскалив зубы, проговорил:

— Сдобная же ты, должно быть, была прежде, Семеновна!

— Да что ты, варнак, сдурел, что ли?! Время нашел бабу разглядывать. Уй ты, греховодник, право! Ступай, тащи мочалку да топор!

Яков поспешно вышел. Во дворе он выдернул мочалину из гнилой рогожи и, захватив топор, возвратился в баню. Кирсаниха по-прежнему сидела на полке, положив ребенка в колени, расправляла ему руки и ноги.

— Давай сюда мочалину-то!

Скоробогатов подал и дожидался дальнейших приказаний повитухи, а та, шепча что-то, принялась вымеривать мочалиной руки и ноги мальчика. Ребенок вяло бился в подоле повитухи, свесив голову, и, разевая широко беззубый рот, хрипло кричал. Потом Кирсаниха подала мочалину Якову и приказала:

— Положи мочалину на порог и бери топор.

Яков покорно исполнил.

— Ну, замахивайся топором-то!

— На кого?

— Дурак!.. На мочалину!

Яков замахнулся.

— Чего секешь?..

— Мочало! — ответил Яков...

— Тьфу ты!.. Говори — испуг!..

— Испуг! — ответил Яков, держа над головой топор.

— Секи пуше, чтобы не было!

Яков только сейчас догадался, что нужно делать. Он с остервенением принялся кромсать на пороге мочалину топором, а Семеновна, разглаживая хрупкое тельце ребенка, снова спрашивала:

— Чего секешь?..

— Испуг! — отвечал Яков, обливаясь потом.

— Секи, секи пуше, чтобы не было.

Яков рубил мочало, ребенок, захлебываясь удушливым жаром бани, пищал, как прижатый мышонок, а повитуха, не обращая внимания ни на плач ребенка, ни на Якова, строго смотрела на быющее тельце новорожденного и размеренно продолжала:

— А господи Иисусе Христе... Чего секешь?..

— Испуг! — уже нетерпеливо и с сердцем крикнул Яков.

— Секи, секи пуще, чтобы не было, — спокойно приговаривала повитуха.

— Да уж будет, по-моему, Семеновна, замаяла парнишку-то, — сказал Скоробогатов, продолжая рубить молотом.

— До трех раз полагается, — строго отвечала повитуха.

Потом, окатив из ковша водой и пеленая ребенка, Семеновна внушающе сказала:

— Счастье тебе, Яков, привалило... Береги парня... В сорочке рожают, а в сорочке и в рубашке — этого я еще и видом не видывала и слыхом не слыхивала... Тут божья рука, Яков... Упустишь счастье, твоя вина будет... А весь — в мать... Екой же черный будет...

В этот день в Якове проснулось новое чувство к жене. Он был переполнен радужными мечтами о будущем «счастье». Хотелось сказать что-то ласковое, ободряющее Полинару. Обычно же он не чувствовал ни любви, ни привязанности к жене. Жил с ней лишь потому, что «законом велено».

Иной раз, смотря на худенькую смуглую Полинару, он чувствовал, как в нем рождалась настойчивая мысль: «Хоть бы померла». Но Полинарья держалась, как тонкое, гибкое деревце. Гнется оно под напором бурь, гнется, скрипит и опять выпрямляется. Так и она. Семейная непогода приходила нередко. Скоробогатов иной раз пьяный бил жену, выгонял ее ночами из дому в зимнюю стужу в одной рубашке, иной раз просто над ней издевался.

— Полинашка, век ты мой завесила... Смеются надо мной приисковые наши бабы... Я вон какой, а ты?!

Яков приосанивался, выпячивая живот, и, запустив большие пальцы за гарусный пояс, выбрасывал презрительные слова.

— Смorchок!.. Умирай, а я женюсь...

Полинарья плакала, сморкаясь в подол юбки, и боялась в это время противоречить мужу. Только потом жаловалась соседкам:

— Что вы, бабы, знаете! Вам жить да радоваться, а я?.. На мне только одна печь не бывала. Только и отдыхаю, пока он неделю на руднике живет.

Но сегодня Яков совершенно изменился. По избе ходил на цыпочках. Чтоб не скрипели сапоги, разулся. Услышав шорох на кровати и писк ребенка, тихо подходил и, осторожно отдернув занавеску, заботливо спрашивал:

— Ну как, мать, брюхо-то не болит?

— Ничего, Яков, слава богу!

— Поправляйся. Да ты не шевелись. Что надо, я сделаю.

Полинарую это удивляло и радовало.

Вечером Скоробогатов позвал соседского мальчишку Ваську и, сняв с божницы толстую, в деревянном переплете книгу, закопченную временем, сказал:

— Ну-ка, Васютка, посмотри, какие имена на сегодня — каких святых?..

Васька, подшмыгивая широкими ноздрями, бтыскал в книге нужное число и, тыча пальцем, прочитал:

— Евсти-гней... В-ви-кул... М-ма-кар...

Ну, ну, чего тут блекочешь? — нетерпеливо перебил его Яков, вырвав книгу.

Васька обиделся.

— Смотри сам, если не веришь!..

Яков, рассматривая непонятные для него строки славянских букв, сконфуженно ухмыльнулся.

— Плохо... Что ты мне книгу-то подсовываешь, коли я неграмотный!

Васька лукаво улыбнулся и направился к выходу.

— погоди, погоди, куда понесся, сорванец? Макар, говоришь? Ну, ладно... Макар так Макар! — сердито проговорил Яков.

— Я тоже думаю, отец, Макарушкой имечко дать... Мы смотрели в святцы-то. Естигней — уж больно мудреное, — тихо отозвалась за занавесью мать.

— Ну, ладно. Коли Макар, так Макар... Яковлич! — подчеркнул Скоробогатов. Порывшись в глубоком кармане измазанных приисковой глиной плисовых широких шаровар, он достал медный трешник и подал Ваське.

— На! За труды тебе, на бабки!

Васька, крепко зажав в руке монету, выбежал.

На другой день новорожденного Скоробогатова крестили. Темный комок пузыря — «сорочку и рубашку» — привязали на красной тряпице за ногу ребенка. Скоробогатов сам присутствовал при крещении. У купели он недоверчиво спросил рыжего попа:

— А ты, батюшка, сорочку-то окунул в купель-то, в святую воду-то?..

— Окунул! — сердито отрезал поп. — Ворожба... Колдовство это языческое.

Но Яков не слушал попа. Он с любопытством заглядывал в купель, когда отстриженную прядку волос с черненькой головы ребенка, закатанную в воск, бросили в «святую воду».

— Не утонул воск-от? — спросил он повитуху.

— Нет.

— Ну, значит, жить будет, — удовлетворенно сказал отец и отошел.

II

«Счастье», рожденное Полинарьей, положительно вскружило голову Якову Скоробогатову. Он как в угаре ходил и видел зарю новых дней, полных удач. Вера в чудодейственный комок еще более укреплялась в нем, когда он слушал приходящих «проведать» Полинарью соседок. Каждая из них знала особенную историю о действии сорочки. Все придавали большое значение тому, что Макар родился не только в «сорочке», но и в «рубашке».

Больше всех знала чудесных историй Суричиха — крупная, неопрятная баба, которая обычно разносила вести в своей «округе». Она с утра до вечера ходила по подоконью, выпрашивая, где чаю на запарку, где маслица, и все, конечно, до завтра.

— Да ведь отдам, уж не беспокойся — завтра же принесу...

Все знали, что это «завтра» бесконечное, но отказать в просьбе Суричихе никто не мог: она умела просить. Прежде расскажет какую-нибудь интересную новость, стоя у ставешка окна, а потом, видя, что ее слушают доверчиво и добродушно, незаметно — к слову — ввернет:

— Мне бы маслица чуточку. Рюмочку, до завтра. Куплю и принесу. Мой-то кобель ходил седни и не получил деньги... уж до завтра.

Через день после крестин Макара Суричиха заявила к Скоробогатовым.

Скоробогатов ее недолюбливал. Когда она прошла мимо скоробогатовского дома и заглянула в окно, Яков проворчал: